

Елена
Скульская

НАШИ МАМЫ
покупали вещи,
чтобы не было
ВОЙНЫ



Елена Григорьевна Скульская

Наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=19397538
Мультимедийное издательство Стрельбицкого;*

Аннотация

Роман «Наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны» – детектив, скорее даже триллер, где смерть стоит на пути почти всех героев. Толчком к кровавым событиям становится выход романа малоизвестного писателя «Наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны». Роман лежит без движения в магазинах целый год, и вдруг его покупают восемь читателей. Есть ли между ними какая-то связь? Что их заставило сделать эту покупку? Писатель, страдающий всю жизнь от непонимания и всем пожертвовавший литературе, решает разыскать восьмерых покупателей его книги и, возможно, почитателей его таланта. Но не смотря на то, что живет он в крошечном городке, где все друг друга знают, встретиться со своими читателями писателю безумно трудно. Почти все они загадочным образом умирают перед самой встречей, словно сама покупка книги, содержание которой так никто никогда и не узнает, становится роковой. Писатель пытается распутать кровавый сюжет, ведущий в тупик...

Содержание

ПИСАТЕЛЬ

4

Конец ознакомительного фрагмента.

17

Елена Скульская **НАШИ МАМЫ** **ПОКУПАЛИ** **ВЕЩИ, ЧТОБЫ** **НЕ БЫЛО ВОЙНЫ**

ПИСАТЕЛЬ

«В нашем городе между смертью и похоронами даже в июльскую жару непременно проходят две недели. Они выделяются на приведение в порядок скорбных дел, чтобы каждый провел их в занятиях своим траурным костюмом», – написал я и задумался. Точно ли я выразил свою мысль? Всем ли будет понятно? Очень трудно выполнить задание мэра. В нашей уважаемой газете «На краю» я возглавляю отдел происшествий и легко справляюсь со своей работой, могу даже, как это модно сейчас, зарифмовать пару-тройку абзацев. Поэтому мэр и поручил мне написать путеводитель по нашему городу; мне, разумеется, было приятно получить такую почетную нагрузку, но вот нести ее, оказалось, совсем не просто. Тут нужно полностью перестроиться и отдать себе отчет

в том, что ты пишешь именно путеводитель, а не очередной газетный материал. Путеводитель – книга, которую, не то что газету, прочтут не раз и не два. В газете все по-другому. В газете я бы в совершенно свободной манере написал эту главу; подчеркнул бы, что в нашем городе между смертью и похоронами даже в июльскую жару непременно проходят две недели. Они выделяются на приведение в порядок скорбных дел, чтобы каждый провел их в занятиях своим траурным костюмом. Сшить костюм заранее тем, кто впоследствии будет приглашен на похороны, положительно невозможно, ибо если даже смерть человека и предрешена, то надежда на скорейшее и полное выздоровление все-таки должна поддерживать умирающего, и как бы выглядели его родные и близкие в его глазах, если бы вместо того, чтобы держать его за руку, измученную болезнью, кидались бы по портным и бежали бы по примеркам и, отдуваясь, роняя пакеты, отряхиваясь от мелких свертков, из которых непременно выпрыгивала бы резво пуговица с серебряной отделкой и переливчатая тесьма, ерзая, уползала бы под больничную кровать, залетали бы к нему на минутку, присаживались бы торопливо на уголок стула или край матраса, и, отвечая невпопад, прикидывали, все ли у них закуплено на первый случай – для заказа и примерки. И отрывисто бы так вскрикивали: «Да!», «Нет!», не говорили ли бы покойно «Д-а-а», «Нет-нет-нет-нет», торопились бы, обдавали умирание духами «Элефант», махали в дверях, вскинув молодую челку черной вуалетки,

вдруг возвращались бы, склонялись, и глаза умирающего тут же наполнялись бы слезами, но, увы, они склонились не для глаз его, что им глаза, которым не прикажешь: «Смотреть в глаза!», когда глаза закрыты и вместо шор чернеет крышка гроба, чтобы с пути не сбиться в тьме посмертной, о нет, зачем, они теперь склонились лишь для того, чтобы вымерить пространство для будущего наклоненья кружев в прощальном поцелуе или локон хотели лишь отмерить для объятий с холодным телом, на какое с криком они падут потом, а нынче молча примериться должны и постараться не показать виновнику торжеств всех сложностей их приуготовлений...

Совсем не просто с путеводителем. Очень точно нужно понимать, куда и зачем ты ставишь то или иное слово. Не то что мой знакомый писатель – он писатель, а я, значит, просто журналист, и он все время подчеркивает, что журналист писателю не чета, но все равно с ним никто особенный не общается, и он довольствуется моим обществом, – так вот он считает, что о смысле не нужно беспокоиться, он никуда не денется – будут слова, будет и смысл. Нужно заботиться о словах. Он сейчас написал новую книгу и начал ее так: «Наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны». Мне начало понравилось, я бы сам хотел начать свой путеводитель какой-нибудь такой емкой фразой. Это ведь очень по-человечески и очень понятно, что наши мамы после войны стали покупать вещи. Особенно, знаете, такие хрупкие и нестан-

дартной формы, чтобы невозможно было упаковать, или там громоздкие, что не то чтобы с собою взять, но и из комнаты-то одному не вытащить, не говоря уже о бегстве с узлами и тюками, куда там! Наши мамы наверняка покупали вещи, чтобы не было войны.

Но дальше я читать его книгу побоялся, чтобы не разочароваться; у него и раньше отдельные фразы удачно выходили, удачно-то удачно, а все равно как фарш из мясорубки, – вылезает каждая фраза из своей ячеи, а какое она имеет отношение к другим фразам – не понятно. Обычно я прочту, а скрыть своего разочарования не умею: юлю, изворачиваюсь, вру, что еще не прочитал, но он непременно прижмет меня к стенке и все выпытает. При этом клянется, что мое мнение никак не скажется на наших отношениях, а когда я миролюбиво сознаюсь, что не понял, что к чему, когда добавлю, что, вероятно, не дорос еще до его уровня, то он тут же начинает кричать, что он и его писания – это одно и то же, и если я не люблю его книги, то ненавижу его самого. Я замолкаю, мы все-таки приятельствуем, хотя он и считает меня только журналистом, а себя писателем. Но меня читают все, а его не читает никто. Потому что он эгоист и ничего не хочет сделать для читателя. Ничего, чтобы читатель понял. Я ему не раз и не два говорил, что должно быть что-то общее, какое-то общее место, общий случай, связывающий людей, а у него сразу начинают проступать красненькие прожилки на

щечках пожилого мрамора, он вскидывает свой востренький подбородок, словно подбородок его – лодочка, ударившаяся о рифы и застывшая на секунду перед тем, как расколоться в щепы, и выкрикивает: «Общий случай в литературе – толковый словарь, там нет ни одного непонятого слова! Читай словарь!» Верхние зубы у него похожи на плиссированную юбку, неужели нельзя привести в порядок?! «При чем тут словарь?! У тебя вообще нет ни одного понятного слова!» – тут я обрываю разговор и иду писать свой путеводитель, который будут читать сотни и тысячи людей.

Потому что в нашем городе все очень разумно устроено, не так, как у других.

У нас учитываются интересы всех людей без исключения.

О подготовке к похоронам я уже рассказал. На похороны всегда все приходят свежими и нарядными. Наряд, конечно, не главное на похоронах, а все-таки приятно рассмотреть обновки друг друга, да и между кремацией и поминками не чувствуется такого большого контраста, как у других, – там просто явное недоразумение, несоответствие: только что плакали, рвали на себе волосы, а вот уже выпивают и поют. А у нас во всем чувствуется торжество, предвкушение. Без перегибов, разумеется. Вот, скажем, в нашей крематории не рекомендуется курить и стрелять; это всем известно, и люди,

как правило, приходят на похороны без оружия – во всяком случае, никто и никогда не поднимал у нас руки на покойника. Конечно, бывало, могли из баловства засунуть усопшему в рот сигаретку, но дальше этой невинности не шли никогда. А почему, да для чего, вы спросите, не курить и не стрелять? Да только для того, чтобы, выйдя, затянуться с особым удовольствием, с нежностью согреть в руке рукоятку пистолета. А как же!

Когда мне поручили писать путеводитель, писатель особенно озлился на меня – он боялся, что я не включу его в достопримечательности. Тут важно понять, что он мне никогда не завидовал. Нет, скорее, я ему отчасти завидовал, сам не зная почему. Он именно озлился. А я как раз включу его в путеводитель. Не так уж много в нашем городе писателей, чтобы мы о них молчали. Другое дело, что у нас, слава Богу, демократия, и никого нельзя заставить покупать книги, если они не нравятся. Он мне сказал, что эта-то его книга, про наших мам, непременно станет бестселлером. Да с какой стати! Кто его станет покупать? У него и друзей-то никогда не было, которых можно обязать. У него никого не было, кроме тараканов, про которых он говорил, что они похожи на дирижеров, поминутно одергивающих свои фрачки; музыку он, правда, любил, тут я не буду спорить, но вы бы слышали, что он несет про композиторов, про Прокофьева, например.

Он говорил, что наших мам погубил Прокофьев; он его называл альбиносным тараканом в запотевшем заграничном пенсне, он считал его преступником, вором, с фраерскими – небо в клеточку – диезами, с несознанкой бекаров; считал жестоким – ни одной опрокинутой алебарды бемоли, никогда; а они любили его; и когда его окрик хватал их за воротники, хватал их за выходные крепдешины и прибивал гвоздиком к стене так, что дергались над землей раздраженные лягушачьи ляжки (он не просто жестокий, он еще и трус, трус с особой, изощренной жестокостью), – когда оглушала одним ударом его не терпящая возражений музыка нестерпимой доктрины с выправкой оттянутого носочка ритмического расчета, когда, тиская пространство, покрывая и ёрзая, двигалась его главная любовь – армия, у которой не бывает профиля, ибо все головы, подобно нотным знакам со свернутыми шеями, свернуты набок, к трибунам, тогда они просили пощады, но было поздно, уже статуей – в туче теней молнией – шел Рок, топоча, ломая веронские порталы, проваливаясь в оркестровые рытвины, и хореограф прятался в бархат надувных китайских фонариков – буфов, но буфы разламывались наподобие вязких апельсинов, и из них доставали хореографа, и он радостно умножался, ликуя копией на одном и одном месте тысячи быстрых раз...

Он когда говорил о музыке, я сам начинал отчасти поддаваться его словам, невольно начинал подражать ему, повто-

рять за ним слово в слово, потому что наши мамы и правда любили Прокофьева. Когда наши мамы умерли, а они умерли почти одновременно несколько месяцев назад, они дружили всю жизнь и курили одинаковые папиросы «Казбек»; они скатывали крохотные катышки из ваты и запихивали их в бумажные мундштуки, чтобы дым был мягче и женственнее, то в память о наших мамах мы с ним вместе собрались и поехали на «Ромео и Джульетту» в Мариинский театр и в бирюзовой имперской роскоши увидели красного брата Лоренцо, приседающего в третьей позиции на манер тюльпана, готовящегося к скабрёзности, – как сказал о нем писатель.

Может быть, в тот вечер мы и могли бы сблизиться по-настоящему. Мы вышли из театра и подошли к реке, а по воде плыла лодочка, и в ней, обнявшись, мужчина и женщина; женщина была в крепдешиновом платье с фонариками, как у наших мам, только на месте носа у нее была гипсовая нашивка. Это все испортило. Будто женщина была не настоящая, будто из фанеры или картона, хотя потом я узнал, что так бывает, если она лечилась в отделении челюстно-лицевой хирургии, если у нее был сломан нос. Но пока лодочка не поравнялась с нами, мы очень хорошо говорили, и писатель все повторял, что, мол, наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны. Что поэты были их способом быта, методом интерьера. Что наши мамы не жили в долге, блаженствуя порохметовски. И все от Пушкина. Пушкин потому что любил

долг. Он даже «Дубровского» написал после истории с «Ромео и Джульеттой». Веронский сюжет был построен на женской верности. Пушкин удивился: верность по любви? Что за доблесть такая?! Верность по любви – тавтология. Скучно. Маша Троекурова пошла у него под венец с Верейским и ему стала хранить верность. Татьяна Ларина пошла за генерала и стала ему хранить верность. Пушкин оскопил русскую литературу ровно на любовь. Зато и умереть не дал. Зато отправил жен за декабристами, и расцвели науки в Сибири. Долг долголетен, медленен и длинен. От него рождаются дети, у любви на них вечно не хватает времени.

Отцы у нас умерли за несколько лет до мам. Мой отец умер просто так, а отца писателя убили. В случайной уличной драке, мимо которой он не сумел пройти. В нашем городе очень узкие улочки, что я, разумеется, отметил в своем путеводителе, а отец писателя к тому же хромал; после войны он вернулся с одной ногой, привык к протезу, но как-то странно широко отставлял его в сторону; еще палка, на которую он опирался, еще приверженность к одному и тому же маршруту, где он изучил каждую фасолину булыжников наших старинных мостовых. Словом, он, хоть и пытался, никак не мог разминуться с дракой, толкался, тыкался, прокладывал себе путь палкой и был убит. Убийцу поймали.

И тут писатель, вызывая раздражение всего города – сво-

их потенциальных читателей, – усомнился в гуманности наших законов. Я подробно излагаю их в своем путеводителе, но мне всегда приятно напомнить их магистральную линию. Нам чужда ветхозаветная этика – глаз за глаз и зуб за зуб. А потому убийца у нас всегда получает срок в два раза меньший, чем ему удастся отнять. Я согласен с писателем в одном пункте – гуманность достается нам дорогой ценой: старики, калеки, неизлечимые больные постоянно находятся в опасности, ибо знают, что жизнь их совершенно обесценена в глазах потенциального убийцы, что любой маньяк, любой охотник, не получивший у зеленых лицензию на отстрел зверя, может практически безнаказанно истреблять их или, как у нас шутят, навечно прописать в землянке. Но с другой стороны, не это ли придает калечной скуке старческого ветеранского дребезжания некоторый азарт, пиль, тубо, о-о, тютю, бо-бо...

В путеводителе я остановился на конкретном примере с отцом писателя. Он хорошо себя чувствовал, рассчитывал пожить еще лет десять-пятнадцать; убийца, значит, мог схлопотать от пяти до семи с половиной. Так? Но вскрытие совершенно неожиданно показало, что у отца писателя был неоперабельный рак поджелудочной железы. Человек предполагает, а Бог располагает. Жизни в нем оставалось при самом свободном припуске на Божье провидение месяца на два-три. Убийцу никак не могли осудить больше чем

на шесть недель.

Мне нравятся наши законы. А писатель о них просто не думал, пока не коснулось его лично. И вот именно для себя он захотел исключения, чтобы именно убийцу его отца наказали не так, как наказывают у нас всех. Пришлось ему объяснять, что у нас не будут писать отдельные законы для писателя и его родственников. Ну он и наломал тогда дров! Он взял и не пригласил на поминки убийцу своего отца. То есть нарушил важнейшую гуманитарную традицию нашего города: непременно с назидательной целью присутствует убийца на похоронах своей жертвы. Но и жертва в лице родственников непременно должна пригласить злодея на поминальный ужин, аллегорически символизирующий равенство всех людей перед таинством смерти, перед Богом, если угодно, и, если уж на то пошло, не судите да не судимы будете...

Мы очень крупно тогда поссорились, долго не общались. А потом умерли наши мамы. Тут-то он и решил написать книгу, чтобы бросить в лицо своим согражданам правду. Помилуйте, кто станет покупать книгу, чтобы узнать о себе правду?! И какую правду?! Щечки пожилого мрамора, дирижеры-тараканчики, самому уже пятьдесят лет днями исполнится, а все еще хочет жечь читателей каленым железом глагола, будто читатели – Миледи из «Трех мушкетеров», у которой на плече была выжжена лилия с тремя лепестками

(будто на заборе красуется такое цветистое словечко из трех букв), но писатель своего коллегу Дюма, конечно, не читал, он гораздо выше.

Он заявил, что выскажет им всю правду через Шостаковича. Прокофьева, значит, оставил в покое, а взялся за Шостаковича. Ну и понес, понес, что, мол, у Шостаковича непризывное, комиссованное плоскостопие нот. И наши мамы его любили по-тыловому. У него сплюснутые ноты; их можно было подсунуть под дверь, да они сами туда проползали попластунски, зажав в зубах подпольную чеку звука, грохались, прокатывались, их можно было свернуть трубочкой и засунуть в уши, проткнуть ими барабанную перепонку в клаустрофобию глухоты, чтобы уже не могли настичь раззевавшиеся мегафоны, плиссированные патефоны, липкие улитки валторн, пожирающие тянущийся смысл; а девки в деревнях после войны, когда запрещены были аборт, несчастные девки запихивали в себя, как хмель в подушку, такие длинные черенки нот, чтобы вызвать выкидыш. Это правда, наши мамы не хотели нас, им пожить хотелось, аборт были запрещены, отцам нашим очень хотелось после войны детей; да, высохшим черенком его ноты можно проковырять замочную скважину у себя на груди и верный калибр прижать к ней... Неровные края перекатов Шостаковича – словно прищемленный подол, и вырываются с ситцевым треском; бетонные корыта общественных прачечных щелоком выщипывают его

слезы. «Моя Марусенька, танцуют все...»

Наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны. Длинное блюдо с бортиками, на дне которого была нарисована нарезанная селедка с зелеными фонтанчиками лука из вынутых глаз, а у другого блюда в ногах и головах были диванные валики, и на дне у него был нарисован сыр с крупными потными дырочками; было совсем маленькое, почти и не блюдо, а так, вытянутое блюдце с одноглазой килечкой, плоско, поплацкартному устроившейся на дне; еще было много сервировочных – это чем брать то, что кладется на блюдо в соответствии с рисунком на дне – трезубцы, полумесяцы с режущими краями, крошечные половнички со свернутыми набок утиными носами; варили холодец, и дети в чесночном, прачечном, дымно-влажном, пухлом, сытном угаре сзывались обсасывать кости; мозговые выбивали о тарелку, намазывали на хлеб и солили; при детях рассказывали страшные любовные истории, маскируясь и запутывая следы; например, говорили: «А он тогда поехал к ея сестре» и делали ударение на «ея», которое дети не понимали; жили компаниями – любили слова «анчоус» и «кабачок», но никогда не клали в салат «оливье» вареную морковь, не делали селедку «под шубой» со свекольными залежами, припорошенными сыпью мятых яичек...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.